# Два не совсем обычных случая

***Ежедневно
как вол жуя,
стараясь за строчки драть,—
я
не стану писать про Поволжье:
про ЭТО —
страшно врать.
Но я голодал,
и тысяч лучше я
знаю проклятое слово — «голодные!».
Вот два,
не совсем обычные, случая,
на ненависть к голоду самые годные.

Первый.—
Кто из петербуржцев
забудет 18-й год?!
Над дохлым лошадьем вороны кружатся.
Лошадь за лошадью падает на лед.
Заколачиваются улицы ровные.
Хвостом виляя,
на перекрестках
собаки дрессированные
просили милостыню, визжа и лая.
Газетам писать не хватало духу —
но это ж передавалось изустно:
старик
удушил
жену-старуху
и ел частями.
Злился —
невкусно.
Слухи такие
и мрущим от голода,
и сытым сумели глотки свесть.
Из каждой поры огромного города
росло ненасытное желание есть.
От слухов и голода двигаясь еле,
раз
сам я,
с голодной тоской,
остановился у витрины Эйлерса —
цветочный магазин на углу Морской.
Малы — аж не видно! — цветочные точки,
нули ж у цен
необъятны длиною!
По булке, должно быть, в любом лепесточке.
И вдруг,
смотрю,
меж витриной и мною —
фигурка человечья.
Идет и валится.
У фигурки конская голова.
Идет.
И в собственные ноздри
пальцы
воткнула.
Три или два.
Глаза открытые мухи обсели,
а сбоку
жила из шеи торчала.
Из жилы
капли по улицам сеялись
и стыли черно, кровенея сначала.
Смотрел и смотрел на ползущую тень я,
дрожа от сознанья невыносимого,
что полуживотное это —
виденье! —
что это
людей вымирающих символ.
От этого ужаса я — на попятный.
Ищу машинально чернеющий след.
И к туше лошажьей приплелся по пятнам.
Где ж голова?
Головы и нет!
А возле
с каплями крови присохлой,
блестел вершок перочинного ножичка —
должно быть,
тот
работал над дохлой
и толстую шею кромсал понемножечко.
Я понял:
не символ,
стихом позолоченный,
людская
реальная тень прошагала.
Быть может,
завтра вот так же точно
я здесь заработаю, скалясь шакалом.
Второй.—
Из мелочи выросло в это.
Май стоял.
Позапрошлое лето.
Весною ширишь ноздри и рот,
ловя бульваров дыханье липовое.
Я голодал,
и с другими
в черед
встал у бывшей кофейни Филиппова я.
Лет пять, должно быть, не был там,
а память шепчет еле:
«Тогда
в кафе
журчал фонтан
и плавали форели».
Вздуваемый памятью рос аппетит;
какой ни на есть,
но по крайней мере —
обед.
Как медленно время летит!
И вот
я втиснут в кафейные двери.
Сидели
с селедкой во рту и в посуде,
в селедке рубахи,
и воздух в селедке.
На черта ж весна,
если с улиц
люди
от лип
сюда влипают все-таки!
Едят,
дрожа от голода голого,
вдыхают радостью душище едкий,
а нищие молят:
подайте головы.
Дерясь, получают селедок объедки.

Кто б вспомнил народа российского имя,
когда б не бросали хребты им в горсточки?!
Народ бы российский
сегодня же вымер,
когда б не нашлось у селедки косточки.
От мысли от этой
сквозь грызшихся кучку,
громя кулаком по ораве зверьей,
пробился,
схватился,
дернул за ручку —
и выбег,
селедкой обмазан —
об двери.

Не знаю,
душа пропахла,
рубаха ли,
какими водами дух этот смою?
Полгода
звезды селедкою пахли,
лучи рассыпая гнилой чешуею.
Пускай,
полусытый,
доволен я нынче:
так, может, и кончусь, голод не видя,—
к нему я
ненависть в сердце вынянчил,
превыше всего его ненавидя.
Подальше прочую чушь забрось,
когда человека голодом сводит.
Хлеб! —
вот это земная ось:
на ней вертеться и нам и свободе.
Пусть бабы баранки на Трубной нижут,
и ситный лари Смоленского ломит, —
я день и ночь Поволжье вижу,
солому жующее, лежа в соломе.

Трубите ж о голоде в уши Европе!
Делитесь и те, у кого немного!
Крестьяне,
ройте пашен окопы!
Стреляйте в него
мешками налога!
Гоните стихом!
Тесните пьесой!
Вперед врачей целебных взводы!
Давите его дымовою завесой!
В атаку, фабрики!
В ногу, заводы!
А если
воплю голодных не внемлешь,—
чужды чужие голод и жажда вам,
он
завтра
нагрянет на наши земли ж
и встанет здесь
за спиною у каждого!***